

Над рекой хор деревень



...Сопки преграждают и замыкают наш путь, и порой кажется, что катер идет по узкому вытянутому озеру. Но вскоре сопки расступаются, расступаются неожиданно, открывая синие протоки и желтые острова, и вновь смыкаются, уже за нами. Когда катер попадает в полосу ветра, с ближних склонов нас обдает терпким запахом осени. Так мы шли все утро, оставляя за кормой лиловую гряду сопок и речные повороты, пока, наконец, не услышали где-то за излучиной лай собаки. Тушама — первая наша деревня.

Мы приткнулись к берегу, там, где в Ангару впадает тихая речка. Избы стояли над рекой в два порядка, лицом друг к другу. Поднялись к избам и медленно пошли по деревенской улице. Леонов и Ополовников идут впереди, и да нас долетают обрывки фраз.

— Не то, не то, — досадует Ополовников, показывая глазами на шиферные крыши, кудреватые наличники, перестроенные избы. И вдруг, уже на краю деревни, останавливается перед двухэтажным амбаром с обрушившейся галереей — выносом. Молча обходит его и другим, потеплевшим голосом замечает:

— Срублен в традициях...

Октябрь Леонов и я рулеткой замеряем ширину и длину, амбара, а Борис Чуласов тащит жердь, подводит ее под крышу, высчитывает высоту. Потом Борис удобно устраивается на бревне, достает блокнот, карандаши и начинает чертить план. Ополовников,

сфотографировав амбар со всех сторон, встал за спиной Бориса и молча следит за его рукой. Потом тихо подсказывает:

— Примите за ноль нижний венец. Посчитайте, сколько венцов в стене, сколько во фронтоне... Помните: модуль этих построек — бревно.

Пока Чуласов «препарирует» постройку, Шандро набросал рисунок амбара: на береговом откосе стоит сложенная из сосновых, серых от времени бревен мангазея. Стоит в отдалении, как и положено стоять общественному хранилищу хлеба. Крыша крыта драньем, двери забраны деревянной решеткой; чувствуется, как тянет из амбара давним стойким запахом зерна...

Спустившись снова к берегу, мы натолкнулись на старую лодку. Это был шитик — «сшитый» из досок, узкий, длинный, с высоко поднятым носом.

— Хоть в музей бери, — говорю Леонову, приглядевшись к лаконичным линиям шитика, к его изящным обводам.

— Красота-то кроется в целесообразности... — замечает Ополовников. — Взять хотя бы зимовья. Казалось бы, сколько уже перевидал их за время охотничьих странствий — и все мало. В этой утилитарной архитектуре, архитектуре без ненужных украшений, яснее всего проявляются принципы народного зодчества, душа его...

Леонов внимательно слушает Ополовникова, потом говорит:

— Зимовья и лабазы, поставленные по ручью, могут стать изюминкой музея. И лодки тоже. Все руками сделано... Но не одни шитики. И долбленки, и илимки, и беяны, десятиметровые карбасы. Их бурлаки тащили...

— Да, Ангара кормилицей была, — вдруг услышали мы за спиной.

Рассматривая шитик, мы не заметили, как к берегу причалила моторка. Двое мужчин с ружьями, подойдя к нам, степенно поздоровались. Огромная лайка, увидев незнакомцев, взволнованно замерла рядом со своим хозяином. Ополовников ласково потрепал по

загривку собаку, морщины на его крупном лице разгладились, глаза повеселели, словно он встретил давнего друга.

— Есть ли поблизости зимовья? — спросил Леонов.

— Есть, однако, — кивнул тот, что постарше. — На речке Тушаме есть, и по Едарме тоже есть. Но идти надо там с толком, в устьях мелко, а уж потом-то плеса пойдут. Есть и подале, на Ангаре. Вам сподручней будет...

Октябрь развернул карту, и охотник, присмотревшись, ткнул черным ногтем где-то ниже по течению.

— Ну бывайте... — Мужички вскинули ружья и зашагали к избам, где уже появились редкие огоньки.

На севере небосклона — белые, словно выцветшие всполохи полярного сияния. Они спускаются до земли, до основания темных сопок, до черной блестящей воды. Ночной двухцветный мир, замерший в тишине...

Утром — крепкий лед на лужах, трава, покрытая изморозью. Дымок из труб. Едарма. На высоком берегу, сразу слева от тропинки, видим большую усадьбу. В одну линию, словно стена крепости, слились бревенчатый фасад избы, высокий забор под своей двускатной крышей, стена амбара. А за усадьбой — огороды, собачьи будки; в траве лежит бало — деревянный станок, на нем обычно гнут березовые полозья для саней и дуги. В окошке меж листьев герани мелькнуло женское лицо. Скрипнули ворога, и молодая хозяйка в платке, резиновых сапогах вышла нам навстречу. Неудивленно поздоровалась, пригласила во двор. Дощатые дорожки, чисто вымытые, ведут к избе, к тыльной стороне двора, к амбару. Рядом с амбаром — стайка двухэтажная: внизу — скотина, сверху — сено. Задняя стенка двора прикрыта наполовину деревянным «занавесом»: там хранится утварь, нужная в хозяйстве. Все устоялось, выверено ежедневной жизнью, все под руками — на случай долгой сибирской непогоды. Именно такую усадьбу рисовал нам как-то Ополовников, объясняя, что мало в музей только избу поставить, надо воссоздать традиционный комплекс приангарской усадьбы со всеми постройками, чтобы показать, как жили люди.

Присматриваясь к избам, встречавшимся на нашем пути потом, нетрудно было заметить, что во многом они сохраняли традиции северорусской избы: стены, сложенные из бревен в «обло» или в «лапу», высокий подклет, крыша со свесом, крытая драньем. Охлупень, матица, рубленые выносы под свес крыши, курицы, скромные наличники — многие детали были сродни тем, что мне доводилось видеть на Северной Двине. И это не удивительно: первые переселенцы Приангарья были выходцами из крестьян наших северных европейских губерний. Они и принесли с собой традиции русского народного деревянного зодчества. Но вместе с тем влияние иных природных и социальных условий привело к тому, что именно здесь, в Приангарье, выработался своеобразный принцип замкнутой усадьбы-двора. Всего мы насчитали четыре-пять типов усадеб. Отличаясь в деталях, они своей неприступностью, отгороженностью походили на дом в Едарме.

Снова скрипнули старые ворота, задрожав резными балясинами. Во двор шагнул крепкого сложения мужчина средних лет. Это и был хозяин дома, Валентин Зарубин.

— Из комиссии по затоплению? — спросил он угрюмо, но, узнав, что цель нашего приезда иная, ушел в глубину двора и молча стал разбирать лодочный мотор, который принес с собой.

— Переживает, — тихо шепнула его жена, — этот дом его дед строил, да и он здесь всю жизнь прожил, каждую половицу знает. Вот и тяжело на душе. А по мне, уж коли решено, скорей бы, — говорила хозяйка, проводя нас в дом.

Изнутри изба напоминала современную квартиру: сервант, диван, зеркало... Лишь низкая притолока двери, печь, делившая избу на две половины, да тканые на кроснах половики говорили о другой жизни, которая текла когда-то в этих стенах. За печью кто-то тихо заохал.

— Старуха у нас больная, — сказала хозяйка. — Все твердит, хочу здесь умереть...

Люди уходили из этих деревень и до того, как заговорили о Богучанской ГЭС, о будущей зоне затопления. Кто перебирался в город, кто переносил избу поближе к центральной усадьбе колхоза, кто уезжал на стройку, в тот же Братск или Усть-Илимск, — всеобщий процесс урбанизации коснулся и этих мест.

Деревня Савино брошена, похоже, года два-три назад. Уже зарастает травой и бурьяном улица, разобраны многие избы — только первые отсыревшие венцы остались в траве. Пустые глазницы окон, открытые двери, покосившиеся стены... Печь стоит посреди избы, и ее видно с улицы, беленую и забытую. И хотя знаешь, что все, жившие здесь, пристроены и живут, хоть и по-другому, но, наверное, легче, — все-таки грустно смотреть на землю, обжитую поколениями, а теперь брошенную, на оставленное «поселье», тоже складывавшееся не год и не два...

На краю деревни стоит церквушка. Деревянная, невысокая, окнами алтаря смотрит на Ангару. Она тоже заросла бурьяном по «пояс», потеряла главку, но ее сдержанные линии до сих пор говорят о том, что ангарским мастерам было свойственно стремление к простоте и цельности и что незамысловатый сруб был не только конструктивной, но и архитектурно-художественной основой выразительности созданных ими строений, будь то церковь или изба. Именно здесь, в Савино, где мы не встретили ни одного человека, я почему-то вдруг отчетливо ощутила, что ангарская деревня, вся, целиком, с ее двумя порядками домов, ориентированными на солнце, с ее улицей-дорогой, запертой в конце деревни жердями покотины, с ее зеленым просторным полем, которое начиналось сразу за околицей и уходило к синему лесу, — все это есть нечто единое, созданное по принципу «как мера и красота скажут». Нельзя не сохранить и не передать эту заповедь старых мастеров тем, кто строит сегодня на берегах той же Ангары...

Река отликает рассветным серебром, сопки еще темные, только чуть проступает желтизна листвы. Накапывает дождь. Тишина такая, что ее слышишь. Октябрь ушел на моторке разыскивать «ручей», о котором говорили охотники; Игорь и Борис отправились на поиски этого же зимовья берегом.

Александр Викторович нетерпеливо расхаживает по палубе катера, подняв воротник плаща. Услышав свист, но еще не видя за деревьями ребят, взволновался.

— Нашли?! — кричит он в сторону леса.

Шандро и Чуласов вернулись ни с чем: тропа завела их глубоко в тайгу, и они, поддавшись искушению, пошли по ней, забыв про ручей.

— Сюда! — слышится голос Леонова.

Мы с Ополовниковым сбегает по трапу. Ноги тонут в мягкой влажной отаве. Пахнет сеном, прелым листом. За пологим береговым холмом открывается ручей. Темная вода его, усыпанная желтыми листьями, несется в Ангару. Идем вдоль ручья, с каждым шагом углубляясь в чащу. Свет разгорающегося утра золотит лиственницы и березы. Ручей остался глубоко внизу, продираемся через ельник, обходим стороной бурелом, проваливаясь по колено в сырой мох. Наконец, выходим на просторную поляну и видим крохотную зимовьюшку и лабаз на двух столбах. Леонов, довольный, сидит, покуривая, на поваленном дереве.

— Так-так, — Ополовников обходит строения, заглядывает, низко согнувшись, внутрь сруба. — Не шедевр, но... Садись, работай, — говорит наконец он подошедшему Чуласову. — А мы, Октябрь Михайлович, снимаем.

Ополовников терпеливо ловит свет, чтобы передать фактуру бревен, убирает вокруг избышки все лишнее, долго ищет ракурс. Ему хочется показать, что место для зимовья выбрано не случайное — сухое, светлое...

Приблизительно через километр охотничья тропа вывела нас к новой избышке. Но она принесла лишь разочарование. Сбитая из досок, кое-как, словно скворечник, сделанный равнодушной рукой. Ополовников отворачивается с горечью. Это, конечно, постройка недавних лет. Может быть, теперь охотникам нет нужды строить основательно? Дом стал ближе, моторка, вертолеты как бы сократили лесные пути, да и охотник, строя зимовье, уже не держит место в секрете, понимая, что это не только «его» угодья...

— Все это так, — сказал Александр Викторович, выслушав наши рассуждения. — Но главная причина кроется, на мой взгляд, в другом: человек уже давно простился с той жизнью, когда он должен был уметь все делать сам. И все-таки глубоко в тайге, я уверен, можно отыскать «подлинники»...

Уже ночью приткнулись к какому-то острову. Шелестит высокая, залитая лунным светом трава. Где-то в стороне сонно темнеют соседние острова — Усольцевский, Селенгинский.

Спят деревни посреди Ангары... На острове Усольцевском, в деревне Усольцево, под крышей своего двухсотлетнего дома, коротает ночь Дарья Ивановна Привалихина. Растревоженная дневным разговором с нами, быть может, вспоминает она, как пришла в

этот дом девчонкой-хозяйкой, и удивляется про себя, что вот все, чем жила, вдруг оказалось интересным кому-то — и эти стены из сосновых бревен, и прялка, и гребни для чесания шерсти и льна, и рубель для стирки, и сеть с поплавками из бересты... И уже не такой острой кажется боль расставания с домом, но другая боль — о детях, не доживших, не дошедших до этих «чудных» дней, наполняет душу. И, комкая платочек, Дарья Ивановна тихо приговаривает свое постоянное, облегчающее: «Господь с вами, спасибо»...

Утром туман скрыл небо, берега, реку — казалось, мы утонули в его плотных, молочно-влажных волнах. Может, все, о чем думалось мне в эту лунную ночь, — просто приснилось? Но вот высветилось пятнышко солнца, мелькнул силуэт лодки и темная женская фигура в платке, уносящаяся в туман, к островам...

Чтобы подобраться к деревне Аксеново, пришлось на моторке пересекать протоку и долго идти под морозящим дождем по желтому пружинисто-влажному косогору. Избы на виду, рядом. Как всегда, пришло чувство тревожного ожидания: что принесет нам эта деревня? Радость или разочарование?

На береговом холме, там, где начинается длинная деревенская улица, врыта в землю скамейка. На ней сидит парнишка лет четырнадцати — крепкое румяное лицо, светлые глаза. У воды — моторка, две лайки лежат в лодке, нетерпеливо поглядывая на берег. На парне теплая куртка, сапоги, шапка-ушанка.

— На охоту собрался? — спрашиваю.

— Ну.

— А как же школа?

— Я уже восьмой кончил.

— И решил поставить точку?

— Ну, — парень смущен.

— Надолго уходишь?

— На два месяца, однако...

На улице много народа. Торопятся школьники, бежит бабка с буханками белого хлеба под мышкой (на ходу, углядев в нас приезжих, крикнула: «У нас самый лучший хлеб, идите в пекарню, вот она, рядом!»); идут парни в кепочках, в ковбойках (оказалось, здесь работают бригады по добыче смолы-живицы); едут на лошадях охотники с ружьями, с сумками-понягами за плечами. На нашем пути — и до Аксенова и после — встречались не раз такие крупные, плотно населенные деревни и поселки: Фролово, Паново, Недокура, Проспихино. Они не приносили нам обычно больших открытий (много новых домов, старые зачастую перестроены), но ощущение жизни после замерших полуобитаемых деревень возвращало в привычный ритм жизни, снова напоминало о цели нашей экспедиции.

На одной из улиц Аксенова Ополовников заприметил амбар в двадцать венцов с галереей на резных столбиках. Это ветхое строение сразу напомнило сказочные рисунки Билибина и надолго приковало наше внимание. Пошла привычная работа. Шандро и Чуласов тихо чертыхались: карандаш расплывался под дождем. Фарид, как всегда, молча, стрекотал кинокамерой. Леонов и Ополовников, приставив лестницу, поднялись на второй этаж и исчезли в темном проеме двери. Вскоре слышались их голоса:

— Ичиги детские... Седло деревянное... Острога. Ботало. Чаша из капа.

Возле амбара уже собрались люди, с любопытством посматривая на происходящее.

— Да берите, все берите, — говорила молодая женщина, хозяйка амбара. — К чему нам теперь это?



— Старьем интересуетесь? — спросил, проходя мимо, какой-то парень.

— Не старьем; а стариной, — отрезал Леонов, спускаясь с лестницы.

Тут из толпы вышла маленькая старушка с цепкими светлыми глазами:

— Мой, однако, тоже хорош.

И мы пошли за Екатериной Дмитриевной Карнауховой взглянуть на ее двор и амбар. Шумная орава ребятишек сопровождала нас. Когда мы останавливались, чтобы сфотографировать охлупень или крышу со свесом, ребята с удивлением примолкали. Они, похоже, никогда не задумывались, как много интересного в их деревне. Вот хотя бы этот простой наличник с «ногтевой» резьбой: выбитые долотом углубления заполняла тень; серебристая, сотканная из света и тени лента вилась вокруг окна... Мы шли мимо крепких изб и узорно сложенных в высоту ворот полениц, по узким бревенчатым коридорам — между двумя рядами амбаров, и нам казалось, что ожила древняя, деревянная Русь. И вдруг, словно утверждая нас в этом ощущении, на нас глянуло... настоящее древнерусское окно! Оно находилось высоко над землей, на втором этаже амбара. Гладкие полуовальные затеи, сделанные топором, расходились влево и вправо от окна словно лучи.



Окно было закрыто на поржавевшие, но крепкие еще задвижки.

— Видели «косячатое» окно? — напомнил Ополовников. — Так это еще старше.

«Косычатое» окно мы заметили в деревне Фролово. Оно было обрамлено мощными гладкими косяками. Верхняя его колода, покрытая крупной резьбой, слегка нависала над стеклом и защищала его от дождя.

— Приросли что ль, не сдвинетесь? Во двор-то будете заходить? — подала голос Екатерина Дмитриевна.

— Так это ваш амбар?

— Ну.

— Так что ж вы нам сразу про окно не сказали?

— Да и то невидаль. Не у меня одной окошки таки.

Внутри амбара было чисто, пахло сухими травами. Лестница из цельной плахи с вырубленными ступенями вела на второй этаж. В углу была сложена охотничья снасть.

— У вас сын охотник?

— Да у нас все охотники, — говорит хозяйка.

Потом достает старое ружье, мешочек для дроби, натруски-пороховницы, протягивает Леонову:

— Ну, бери, однако...

Кежма оглушает нас, привыкших к речной тишине. Баржи, автобусы, грузовые машины. Районный центр. Пружинят под ногами деревянные тротуары. Знакомые избы, двухэтажные дома; грозди красной рябины мелькают вокруг. Непролазная осенняя грязь, взбитая колесами грузовиков. Посреди поселка, словно сторожевая башня, высится пожарная каланча. Где-то рядом с ней райисполком.

Владимир Ильич Привалихин, заведующий отделом культуры, сидел за столом, накинув на плечи куртку. В кабинете было холодно. Он пригласил нас присесть, включил рефлектор и стал расспрашивать об экспедиции. Потом порылся в папках, достал одну, протянул Леонову:

— В прошлом году здесь работали специалисты из Красноярска. Надо бы вам связаться с ними...

Леонов почувствовал заинтересованность в голосе этого худого, с простым рябоватым лицом человека и сразу загорелся.

— Уже сейчас многие объекты, годные для музея, выявлены. Важно, не откладывая, взять их под охрану, а то многих недосчитаемся. Потом надо думать о проекте музея, требовать деньги от строительства Богучанской ГЭС...

— Сделаем, — сказал Привалихин.

— Владимир Ильич, ведь Кежма тоже уйдет под воду... О каком же тогда музее думаете вы? — спросила я.

— Как о каком? — удивился Привалихин. — Конечно, о музее в Кодинске.

Выявить памятники, которые необходимо спасти, — часть дела и, пожалуй, наиболее приятная. Вывезти их из зоны затопления, сохранить, собрать, поставить — годы, если говорить о реальном положении дел, отделяют идею создания музея от ее осуществления. Более десяти лет рождается музей под открытым небом в 47 километрах от Иркутска. Но пока лишь одна усадьба поднялась на площадке. Хранятся, разобранные, бесценная башня

Илимского острога, Казанская церковь из Нижне-Илимска, избы, мельницы... Хорошо еще, что хранятся под надежной крышей. А в Братске мокнут под дождем и снегом бревна усадеб, амбаров и мельниц, с таким трудом доставленные из зоны затопления Усть-Илимской ГЭС (1 Пятьдесят пять тысяч рублей было затрачено на то, чтобы вывезти десятки памятников народного зодчества, тысячи этнографических экспонатов и камень с рисунком древнего человека.). Замысел создания музея под открытым небом в Братске тоже насчитывает лет семь, не меньше; еще знаменитый Иван Иванович Наймушин, бывший начальник Братскгэсстроя, собственноручно составлял список экспонатов, какие, по его мнению, следовало взять в этот музей.

Но время не ждет. Оно ранит, разрушает, превращает в прах то, что когда-то было творением рук мастера. Оно не хочет считаться с человеческим равнодушием...

Идея сохранения самого ценного в культуре народов Приангарья не замкнулась на Иркутске, а шагнула от Иркутска к Братску, от Братска к Усть-Илимску, от Усть-Илимска к будущему Козинску. И кто знает, может быть, со временем в связи опять же со стройкой ГЭС на среднем Енисее, она найдет свое завершение в Енисейске, городе, включенном в список исторических городов.

Эту мысль развивал Октябрь Леонов, и она показалась мне интересной, потому что при ее воплощении весь район Приангарья, приобрета со временем новый индустриальный облик, не потерял бы связь с Приангарьем прежним — краем охотников, рыбаков, земледельцев, краем очень своеобразным, хотя бы в силу своего прошлого. С середины XVIII века, когда Московский тракт дошел до Иркутска и трудный путь по Ангаре через пороги и шиверы был заброшен, Приангарье оказалось как бы изолированным от мира. Население, русское и местное, стабилизировалось, притока извне не было. Эта изоляция во многом способствовала сохранению в культуре и быте многих архаических черт XVII—XVIII веков и возникновению своеобразного ангарского типа «поселья» со своими этнографическими особенностями. Оно дошло и до нас, это прошлое Приангарья, но время стремительно отодвигает его в небытие.

За Кежмой река стала мощнее, берега поднялись, ощерились скалами. Вода темная, глухая, с водоворотами. Лилово-желтые сопки, лиловые тучи, желтые острова...

Молодое веснушчатое лицо нашего капитана непроницаемо, и в этой отчужденности ощущается напряжение. Саня, он же Александр Павлович Данилов, плавает не первую навигацию, но этот участок Ангары с Аплинским порогом ему проходить еще не доводилось. Игренькина шивера, Курейская, Ковинская, Аплинский порог, шивера Медвежья, Косой бык — трудный предстоит путь.

Приближаемся к Курейской шивере. Четко видна ее граница: гладкая синяя вода словно обрезана — начинается темная полоса с бурунами. Капитан по-прежнему молчит, лишь изредка оглядывается назад — отмечает береговые приметы, что-то прикидывает. Справа возникает резкий обрыв скалы. Впереди — черная вода с пенистыми крутыми гребнями и водоворотами — уловами. Лодку бьет о борт катера: скорость воды на Аплинском пороге 4,2 метра в секунду. Капитан вытер рукой пот со лба, надвинул кепку по самые брови — и снова веснушчатые пальцы легли на штурвал, а глаза щупают быстрину. Николай Фаддеевич, моторист, рядом с капитаном. Он тоже молчит, всматриваясь в дальние бакена так, словно от них что-то зависит... Позже, когда прошли Аплинский порог и пришвартовались к наливной барже, Саня, счастливо улыбаясь, сказал: «Еще раз-другой пройду, страх как рукой снимет».

К вечеру еще одна шивера осталась позади. Солнце ушло за сопку, пригасив золото осенней тайги, и мы причалили к высокому левому берегу, где стояли створный знак и несколько домиков. Это была Усть-Кова. Здесь река Кова, огибая береговой холм, впадала в Ангару.

Поднялись на холм, постучали в дверь первого домика. В окне затеплился огонек. Мы попали в избу бакенщика. Пляшущий свет керосиновой лампы и неумолчный шум реки за окном располагали к разговору, да и Николай Власович Бурмакин оказался не молчальником. Он был рад встрече с новыми людьми и рассказал, что пост находится на 537-м километре от Енисея и что работают они здесь втроем посменно; участок у них — четыре километра, четыре бакена. «Немного вроде. Да то бакены плотом собьет, то огонь ветром задует. А Новинская шивера — так та многих километров стоит... Каждый день ширину и глубину промеряем, в семь утра — это у нас час переключки — передаем данные в Мотыгино, на главный участок. А уровень воды сообщают из Кежмы. Попробуй не догляди за рекой, не предупреди о положении на сегодня — такое будет... Судов много, и вверх, в Усть-Илимск, и вниз — к Кодинской Заимке. Плоты с Кежмы, Недокуров, из Таежного... С мая до середины октября так и сторожим Ангару. Как шуга ляжет — считай

все. Сразу зажоры пойдут, потом и всю реку схватит. Хоть и неласкова Ангара, а здесь я душой отдыхаю. Как-то приехал к дочери в Красноярск, проснулся, как всегда, в пять утра, вышел на улицу — кругом дома, дома... Господи, думаю, пусто-то как, что здесь делать буду? Скоро и уехал».

Утром, едва рассвело, я услышала шум моторки и сквозь серую пелену дождя разглядела согнутую фигуру Бурмакина в брезентовом плаще и в шапке-ушанке.

Деревня Дворец стояла на угорах, спиной к реке. Между седыми бревенчатыми избами синела Ангара. В какую-то минуту солнце выглянуло из-под клубистых облаков и высветило черную, словно плывущую в волнах голову коня...

Конек высился на одной из крыш. Вскоре около этой избы уже работал, как всегда, Борис Чуласов. Примчался Ополовников: «Настоящий конь?» До сих пор мы видели коньки, лишь напоминающие по форме конскую голову. Александр Викторович метался, ища точку съемки: ему нужен был кадр без столбов с проводами, без антенн. Потом привычно встал за спиной Чуласова, рассматривая рисунок: «Молодец, Боря. Рука у тебя твердая, да и фактуру дерева чувствуешь». Леонов, услышав эти слова, сказал довольно: «Что ж, пора и Сибири готовить своих «деревянщиков». Дело-то наше принимает большой размах».

Мы так увлеклись коньком, что не сразу обратили внимание на стоявшую поблизости женщину в телогрейке, с папиросой в зубах. Она, видно, давно наблюдала за нами.

— Топить будете? — спросила она глухо.

Но, узнав, что мы совсем по другим делам, поманила пальцем Леонова, признав в нем старшего:

— Пойдем покажу...

Мы прошли в избу. Пол был застлан домоткаными и вязанными из тряпок половиками, а сверху прикрыт полиэтиленом. На стене висел вырезанный из журнала портрет Гагарина; в углу, возле большой иконы, горела лампадка. Краски на иконе были яркие, непотемневшие.

— Это Иверская божья мать с младенцем, — сказала хозяйка. — Раньше на том берегу большая каменная церковь стояла, перед войной, как помню, сломали ее. Мать у меня верующая была, икону оттуда и вынесла. Наказывала никому не отдавать, только по крайности — хорошим людям.

— Когда церковь в музее поставим, икона пригодилась бы. Отдадите?

— Может, и отдам...

Все ближе Кодинская Заимка, конечный пункт нашей экспедиции. Промелькнули остров Сосновый с заброшенными дворами, напоминающими крепости, и деревня Рожково, над которой с гортанным криком, словно прощаясь, проплыл клин журавлей, и деревня Пашенная, на туманных лугах которой тихо и росно (здесь от полусотни дворов остался «в живых» десяток), и светлые шиферные крыши разросшегося поселка Проспихино, откуда уходят плоты по Ангаре, и серые кресты сельского кладбища покинутой деревни Усть-Кода...

Тишину над рекой нарушил далекий гул. Скрипом кранов на пристани, ревом самосвалов, перестуком молотков встретила нас Кодинская Заимка.

После дня стоянки у Кодинской Заимки, возвращаясь, мы заметили, что склоны сопок потемнели, желтое пламя лиственниц и берез потухло, кое-где легли пятна снега...

Капитан торопится, идем без остановок. Только ближе к вечеру пристали к берегу, там, где над скальным обрывом белел треугольничек створного знака. По словам охотников из Кежмы, неподалеку от этого знака должно было быть настоящее зимовье. Ополовников уговорил нас поискать зимовьюшку. Поднялись на скалу. Идем через облетевший серо-палевый осинник — лес словно наполнен туманом. Мягкая узкая тропа ведет все глубже в лес. Появились сосны — желтые высокие свечки. Красные ягоды брусники мелькают среди опавшей хвои. Тихо. Вдруг — чуть слышный шум воды... Спустившись со склона, увидели быстрый ручей и на берегу его зимовье. Избушка была сложена из бревен, крыша устлана драньем. Лабаз, тоже из бревен, поднятый на могучих пнях лиственницы, стоял рядом. Топором, без гвоздей сработано было это зимовье.

— Я же говорил, я же говорил, — волновался Ополовников. — Чуть подальше от жилья и найдем!

Солнце заходило, его последние лучи, блеснув над кранами, будто срезали стволы деревьев, ложились полосами на желтую листву, поблескивали в заберегах ручья.

— Я самый невезучий человек, — сокрушался Александр Викторович, — когда нашли, наконец, приличное зимовье, надо уходить. А я хочу снять его отраженным в воде, при свете...

— Мы еще придем сюда, — сказал Леонов.

Л. Чешкова, наш спец. корр.